

051129 120 -
1994-14-2324

ЗА КАДРОМ

Нас вернули в семнадцатый год

«Нетелевизионный» разговор с Эдвардом Радзинским

Эдвард Радзинский — одна из самых ярких «телезвезд». Мы привыкли к «говорящим головам» и забываем о том, что «телезвезды» могут быть парадоксальны, остроумны, любить театр и разбираться в женщинах не хуже, чем в телесъемках...

— Вам не кажется, что вы рассказываете о мертвой, целиком принадлежащей истории фигуре? Что нам, нынешним, до Иосифа Виссарионовича...

— Когда его выносили из мавзолея, люди поразились — у вождя было абсолютно живое лицо. Таким оно осталось и в наши дни. Ленин умер, умерли Зиновьев, Каменев, Бухарин — они интересны лишь историкам. Сталин же — участник сегодняшней жизни, его портреты несут на демонстрациях, его идеи лежат в основе современных политических программ.

— Однако социологи говорят, что дело не столько в вожде, сколько в движении, обладающем не националистическими — интернациональными претензиями. Отчаявшаяся масса у нас есть, вождь может появиться. Но движения, в которое бы масса поверила, движения, готового истребить полстраны только для того, чтобы другая половина дрожала, пока не предвидится. Значит, он все-таки мертв.

— Вы себя утешаете. Сегодняшняя ситуация напоминает то, что было после Февральской революции. Как и тогда, страна все менее управляема. И все более тоскует о порядке.

— Молодая русская буржуазия в лихорадке обогашения вновь забыла главное правило — с нищим народом надо хоть немного делиться. Хотя бы из чувства самосохранения. В 91-м только сумасшедший мог выйти на улицу с портретом вождя. В 95-м под лесом его портретов шло море людей. Да вы и сами видели, какой бешеный интерес вызывают мои передачи о Сталине: после эфира письма мне пишут и старые люди, и молодежь.

— Мне кажется, сталинская империя еще будет вызывать у нас ностальгию чисто эстетического толка. Я люблю Театр Армии — огромное здание, выстроенное Кагановичем в форме гигантской звезды, отделанное драгоценным мрамором, расписанное танками, самолетиками и пулеметиками. Глядя на всю эту нелепую роскошь, на эту мощь, поневоле грустишь по нашей исчезнувшей империи...

— Это и есть подсознательная тоска по остаткам сей затонувшей Атлантиды. Ностальгические воспоминания о могуществе всемирного Вавилона, казавшегося таким незыблемо вечным и рухнувшего на наших глазах. «Я поздно встал и на дороге застигнут ночью Рима был...» Впрочем, как говаривал Победоносцев: «И не такие царства погибли».

— Итак, у вас ощущение, что сейчас мы проживаем вновь вынырнувшее из истории время?

— Мы не выполнили свой исторический урок. Февральская революция должна была покончить с автократией и ввести Россию в европейский дом. Но мы заменили автократию Романовых автократией большевистских вождей, и нас, как дурных учеников, вновь вернули в 1917 год — повторять невыученный урок.

Забавно наблюдать, как мало меняются люди. Даже их лексика. Даже их пошлости. Фразу, которую Овидий услышал на пляже: «Каждый готов обсудить здесь любую красоту, чтобы сказать под конец: «Я ведь и с ней ночевал», — вы могли услышать прежде в Пизунде, теперь — на Канарах. Почитайте, как Сенека описывал римский курорт Байи — крики, несущиеся с озера, гульба, похождения римских матрон...

Мы носим не тоги, а джинсы, едим не на лошадях, а на машинах, но радуемся и страдаем все из-за того же. Изменилось немного: наша планета стала теснее, легче стало уничтожить ближнего, но неизменны пристрастия диктаторов — они остаются те же, что и во времена Нерона...

— Мне кажется, секрет вашего успеха заключен в том, что у вас

было два великих романа: роман с историей...

— И роман с Женщиной!

— Это уже третья тема. Пока что я хотел сказать — с театром. Вы до мозга костей человек театра; не только драматург, но и очень одаренный актер. Секрет успеха ваших телепередач не только в том, что вы говорите, но и в том, как вы это делаете... Почему же вы ушли из театра?

— Театр от меня ушел. Раньше он был гласностью в темноте: аплодируя репликам отрицательных героев, люди зала выражали то, о чем они втайне думали.

Дело в том, что еще в сталинскую пору писатели пользовались простым приемом — слова правды надо вкладывать в уста отрицательных героев. Они, по крайней мере, могли произнести их в полный голос. (Впрочем, с хрущевских времен правдивые реплики стали появляться и у положительных персонажей.) Наш театр, независимо от его жанровой принадлежности, был театром политическим. А потом строй приказал долго жить, и театр незамедлительно обнаружил, что то, чем он занимается, — дважды два четыре. Все это теперь в газетах.

К тому же наш театр привык безмерно серьезно и долго репетировать. Для того чтобы существовать в этом ритме, у драматурга должен быть пульс черепахи, а я обитаю в несколько ином режиме. Прежде — в период страшной цензуры — все это меня устраивало. Репетиционный процесс заканчивался как раз тогда, когда начальство разрешало пьесу. «Беседы с Сократом» то разрешали, то запрещали шесть лет — и все шесть лет шли репетиции... Во времена перестройки, как только появилась возможность мгновенной реализации задуманного, я спросил себя — а зачем мне все это надо? Я продолжаю писать пьесы, но редко отдаю их в театр. После смерти Эфроса нет режиссера, с которым мне хотелось бы работать.

равноправия и множества разведенных дам не так уж и отличается от нашей. Разве что женщин, вступивших на «тропу войны» и ведущих мужской образ жизни, там несколько больше.

— Вы вполне можете потерять свою женскую аудиторию и здесь.

— Моя женщина вечна, ибо она соответствует предназначению женщины — любить, создавать новую плоть. И у нее гораздо меньше проблем, чем у железной женщины-бизнесмена. Их боевая закалка мстит невротами, психическими заболеваниями, странными комплексами, извращениями, ранней старостью... А мои героини как ваньки-встаньки. После каждого неудачного романа они говорят себе, что на этот раз с любовью покончено навсегда. А глядь — точно такой же роман с таким же точно человеком. Но это прелестное женское существование делает моих дам необычайно талантливыми. Они и в самом деле значительно глубже мужчин, с ними всегда очень интересно. Недаром иностранцы, приезжавшие в Россию в XVIII веке, писали, что русские мужчины необычайно скучны и оживляются лишь в пьянстве, зато женщины живы, образованны и прекрасно поддерживают беседу.

— Вы сказали, что женщины-руководители вне сферы ваших интересов. Однако женщина, которая руководит МХАТом имени Горького, была вашей женой...

— Все проблемы Татьяны Васильевны Дорониной идут от того, что она отнюдь не женщина-бизнесмен. Та находится вне сферы эмоций, а Татьяна Васильевна только ими и живет, и вносит их во все, чем бы она ни занималась. Но у нее чрезвычайно сильный характер, она очень мощный человек, и живет она с интенсивностью вулкана отнюдь не средней величины. Если бы Татьяна Васильевна могла рассчитывать свои поступки, то при ее даровании, одержимости и воле она бы достигла огромного успеха.

Андрей НИКОЛЬСКИЙ



— Что ж, тогда поговорим о женщинах. Вы знаток этой темы, вы писали о них со вкусом и любовью, с большим знанием женской психологии. Русская женщина совершенно особая тема: как правило, она умнее и тоньше мужчины и, как показывает сегодняшняя жизнь, — нередко жестче и организованнее нашего брата...

— Есть формула: мужчина счастлив тем счастьем, которое испытывает, а женщина — тем, которое приносит. Для меня есть две категории женщин. О первой сказано выше: ей, бедной, редко дано преуспеть в политике или бизнесе. Ее удел любовь: там она будет вечно несчастлива — и вечно счастлива. Я писал только о таких женщинах, других не понимаю. Более того — они не понимают меня. Я знаю одну весьма интеллектуальную даму, которая очень любила все мои исторические пьесы, а «женские» воспринимала как полную абракадабру. Понять их она не могла.

Вы говорите, что это русская тема. Я тоже так думал — пока не приехал на шведскую премьеру моей пьесы «Приятная женщина с цветком и окнами на север». Вместе с поставившим ее театром я проехал всю Швецию — и, к моему изумлению, реакции публики были точно такими же, как и в Москве. И зал был такой же — одни женщины. Оказалось, что эта страна эмансипации, женского

ромного успеха. И уж, во всяком случае, не вела бы нынешнего гонимого существования, не исчезла бы со всех экранов и со страниц всех газет. Она ярчайший пример женщины, которая продолжает жить эмоциями и чувствами.

— У многих писателей, артистов и художников новая жизнь вызывает чувство чисто физического отторжения. Им не нравятся новые улицы, новые лица, новая манера речи...

— Мир прекрасен. И даже его трагедии всегда имеют высший смысл. Я заранее обожаю любую улицу в любом городе и в любой стране. Тут можно найти самое главное — публичное одиночество.

Любой пишущий человек знает ощущение, когда ты боишься одиночества и — стремишься к нему. Здесь ты почти физически чувствуешь, как разнообразен мир, какое в нем присутствует богатство красок, звуков, лиц. Когда я вижу зеленый глазок телевизионной камеры, я вновь вижу перед собой улицу, ощущаю множество людей, с которыми разговариваю с экраном.

Как же я могу не любить сегодняшнюю улицу? Ведь она позволяет мне заниматься тем, что я так люблю, оставаясь при этом самой собой.

Беседовал
Алексей ФИЛИППОВ